

О судьбе советской деревни, простой публике на философском факультете, Эвальде Ильенкове и Михаиле Лифшице

<http://oralhistory.ru/talks/orh-1483>

7 ноября 2012

Собеседник

Науменко Лев Константинович

Ведущий

Найденкин Михаил Сергеевич

Дата записи

Беседа записана 7 ноября 2012 и опубликована 10 февраля 2013.

Введение

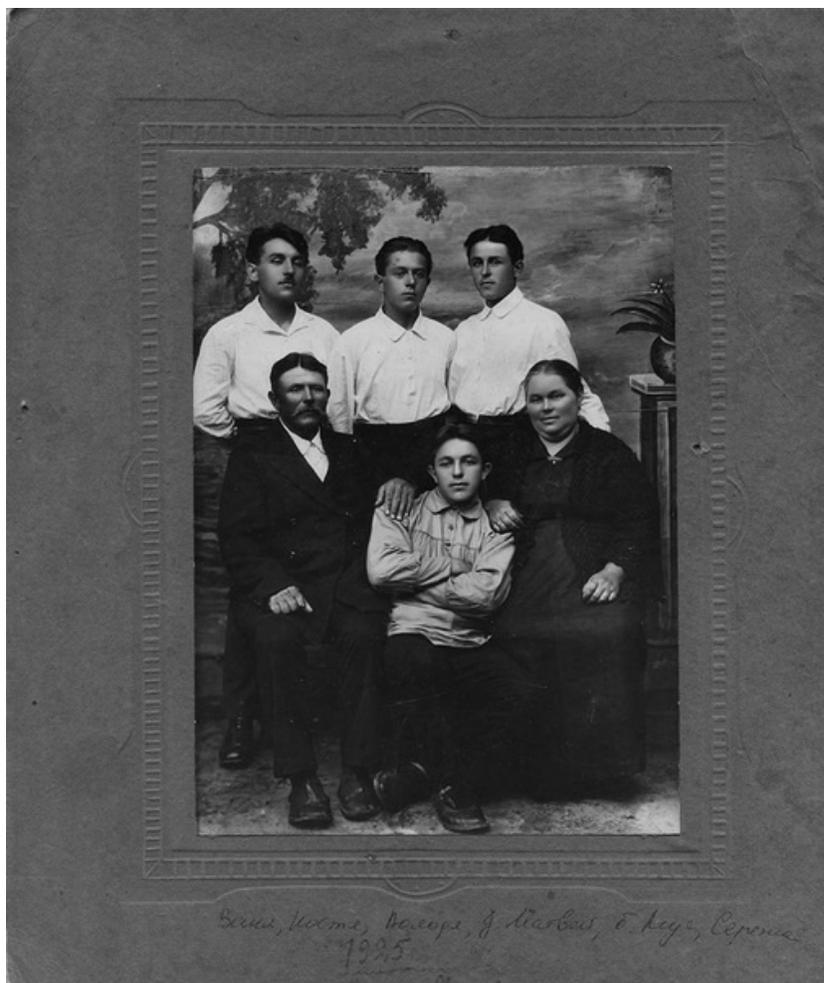
Первая беседа с доктором философских наук Львом Константиновичем Науменко начинается рассказом о деревенской интеллигенции, тотальном огосударствлении и возможностях мальчика из далекой провинции. В качестве показателя критического несоответствия преподавательского уровня философского факультета МГУ 1950-х годов и запросов учащихся, Лев Константинович рассказывает о вступительной речи декана Алексея Гагарина о работе председателем свиноводческого хозяйства. Отдельная тема, получившая в первой беседе первоначальное раскрытие — воспоминания об Эвальде Ильенкове и Михаиле Лифшице. И, конечно, признак необыкновенной вольности хрущевского времени — дискуссии о «подлинном марксизме», внимательно пресекавшиеся опытными руководителями за ненадобностью.

Лев Константинович Науменко: Дело в следующем: я — марксист. Но не из тех, которые официальные марксисты-ленинцы, Митин, Юдин и все остальное. Я марксист другого плана, и я им остаюсь. И это важно, потому что это определяет мое отношение к тому, что было, что есть и что будет.

Теперь немного о себе. Я постараюсь рассказать так, чтобы получилась картинка, которая дает представление о времени, которое уходит... Время было замечательное. Как мне пришлось входить в это время? Я — поколение ребяташек военной поры. В 41-м году я пошел в первый класс (тогда брали в первый класс в восемь лет), и как раз началась война. И самые сильные впечатления, самые первые впечатления были о войне. Что такое война? Для моего поколения оно осталось самым сильным, очень тяжелым впечатлением детства. Для кого-то это бомбежки. До меня бомбежки не дошли, я не был на оккупированной территории. Это был юг воронежской области, ближе к Сталинграду. Воронеж немцы взяли, но не целиком. Остался там кусочек, на котором жил мой дядя. Он был профессором Лесохозяйственного института. Он жил в лесном домике. Этот домик — наша семейная легенда. Настоящий лесной дом! Сейчас там уже — бог мой... А тогда там жила моя бабушка, мой дядя. Я это говорю, потому что для меня и моей семьи дядя был тоже в некотором роде легендой. Я бы сказал так: это был типаж в чем-то чеховский. Земский (не столичный) интеллигент. Не чеховский «дядя Ваня», конечно, хотя он тоже был Ваней. Человек очень образованный, очень умный, очень мягкий. Он имел профессорский облик, скорее врача старого пошиба, дореволюционной модели. Он был крупный, но не толстый. Он был добрый, мягкий, но целеустремленный.

Михаил Сергеевич Найденкин: Это мамин брат?

Л.Н.: Это брат моего отца. Я сейчас, может быть, немного несвязно говорю, но все это как бы подводит нас к теме. Расскажу одну историю. Я уже работал в журнале «Коммунист», был членом редколлегии. Много там было у меня приятелей, отличных ребят. Был у меня друг Волков Генрих, у него много книг в «Молодой гвардии» есть. Например «Сова Минервы» — история философии, но написана хорошим журналистом, талантливым человеком. Очень хорошие книжки, я просто советовал бы прочитать. «Тебя, как первую любовь...» — это о Пушкине. «Рождение гения» — о Марксе. А из серьезных у него была «Социология науки».



Сверху слева направо — Иван Матвеевич Науменко, Константин, Владимир, дед Матвей, бабушка Елизавета Васильевна, Сергей Матвеевич. 1925 г.

Так вот о работе. Ребята там были веселые, но ядовитые. А я только туда поступил на работу. И вот однажды они меня приглашают: пойдём, мол, у Володьки кой-что есть. Значит, выпить. Володька был историк, любил копаться в старых изданиях, газетах и все время находил что-то интересное. И вот я прихожу туда, а там сидит целая гоп-компания: Вадим Некрасов — международник, он ездил с Брежневым в Америку и отличился тем, что побывал в ресторане, где были огромные стеклянные окна, и он решил протиснуться через это окно! И вот прихожу я туда, а они на меня смотрят с интересом. Думаю, что-то не то, может розыгрыш какой-то. А Володька сидит, листает такой гроссбух дореволюционный, примерно как «Кто есть кто» — «Вся Москва». Читает: «О! Науменко Матвей! Пристав». Я этого никогда не слышал. А вы представляете это же 70-е годы, журнал «Коммунист»! А дед действительно где-то в деревне был приставом. Я этим заинтересовался. Была у меня двоюродная сестра. Я говорю: «Нин, а мне вот такую историю рассказали, правда ли?» Она говорит: «Да вот, правда!» Я: «А каким же образом его в партию-то приняли?» (А отец вступил в партию в 42-м году. Он умер от язвы очень рано. Он был агроном). И я стал вспоминать, что когда он вступал в партию, у него были проблемы. Начали его всесторонне проверять. Тогда проверки были очень серьезные. И приняли его в 42-м в кандидаты, а в 43-м уже членом партии. Выяснилось что дед, работая приставом, помогал революционерам-большевикам, и его не трогали. Оказалось что у деда были заслуги, я воспрянул духом!

Это вот линия отцовская вместе с дядей. Их было четыре брата. Бабушка моя — настоящая украинка и славилась на весь Воронеж как мастерица по готовке пирогов и паляниц. Паляница — это такой украинский хлеб. Она по-русски почти не говорила. Почему я об этом говорю? Это очень важная линия.

Дядя занимался восстановлением лесов в южной России. Когда началась сталинская эпопея преобразований природолесных полос, его угробили... эти полосы. Это докучаевская идея! Страшное дело! И он восстанавливал какой-то старый лес. А другой брат отца тоже закончил лесной институт. О нем в свое время написала «Правда», он восстановил Теллермановский лес. Это было имение графа Алексея Орлова, он вывел там новую породу русских рысаков, известные орловские рысаки.

Это вот одна линия. Вторая линия — это линия моей матери. Отец кончал Воронежский сельскохозяйственный институт, они учились вместе в одной группе. Она из воронежских крестьян. По моему, когда-то были не то что конфликты, но не полное приятие. Дело в том, что отцовские родственники считали себя немножечко деревенской аристократией, дядька-то профессор. Они были богаче.

А вот отец моей матери, дед Иван, это было очень интересное явление. Это два класса церковно-приходской школы. Бабушка неграмотная, верующая. Дед неверующий и грамотный. В 1905-м году дед бегал по деревне с винтовкой, был в некотором роде революционер. Бабушка винтовку у него отняла и закопала где-то в саду. Мы с моим двоюродным братом Юркой ее искали, но не нашли.



Иван Павлович Кортунув, солдат, попал в плен в Галиции. Кострома, 1915 г.

Так вот, чем интересен дед. В Первую Мировую войну он воевал в Галиции и попал в плен. А в 17-м году, еще до октября он сбежал оттуда и вернулся в деревню. Вернулся и вырастил сад. Совершенно поразительный сад. Для меня до сих пор остается загадкой — как. Дед — обычный крестьянин. Говорил так, как у нас на юге говорят: «идуть», «говорять». Читал. Мужик был умный, но замкнутый, не болтливый. Сколько я его ни допрашивал, как он в плен попал, ничего не рассказывал. Зато вырастил сад. Сад был

один на три смежных села. Село называлось Карачан. Было Верхнее, Среднее и Нижнее. Это огромное южнорусское село! Он вырастил этот сад, и до сих пор для меня это загадка. Вот я сейчас вам обрисую. До коллективизации это был гектар.

Дальше, дед вернулся из плена, и у него на руках оказалось шесть дочерей и ни одного сына. Это к вопросу о том, что такое Октябрьская революция и что она дала. Всем шестерым дед дал образование: пятерым высшее и одной среднее специальное — она была акушерка. Вот вы скажите, это легко было? Конечно, безумно сложно, ведь учиться надо в городе, а жили-то они в деревне. Потом откуда такая потребность у деда — бесплатное высшее образование. Это был бесплатный дар революции. И вот этот сад.



Дед переписывался с Мичуриным. Мичурин высылал ему черенки, дед что-то там такое делал.

И не просто сад. Он придал ему декоративно-эстетический вид. Дом-пятистенки, не хата, с верандой. Перед домом два каштана (раньше каштанов у нас не было), лужайка, сирень персидская (могучие такие заросли), яблони-преснушки (несъедобные, но огромные), две березы (березы у нас тоже редкость, у нас в основном дуб, вяз) и главное — перед домом роскошной свечой стоит вывезенный с Украины пирамидальный тополь, а у корней вырос маленький тополек. Тополек был наш любимец, мы как приезжали туда, так сразу бежали посмотреть, на месте ли он. Остальное в саду — яблоки. Груш было мало и паршивые. А яблок таких уже не найдешь, они выродились. Я помню воргуль — большущее яблоко, внутри красноватое. Если его разрезать, то вокруг семечек будет как мед. Коляска — такое плоское яблоко как колесо. Черное дерево. Несколько сортов ренетов. Антоновка полторафунтовая. И сад не просто ухоженный, а эстетически осмысленный. Я спрашивал — откуда? И ни у кого такого не было!

Дед остался для меня загадкой. Дед многое увидел в Австрии. Он работал там батраком и многое там подсмотрел и привез это с собой. Я делаю такой вывод: была колоссальная творческая потребность, и если бы не произошло то, что произошло при Сталине, то деревня была бы другой. Дед хотел благодати, но не божьей, а своими руками сделанной. Это было мощное творческое начало в крестьянине. Я об этом говорю, потому что в последующем крестьянам руки начисто обрубили и стали учить — что, как и когда делать, как сеять и так далее. А дед сам мог кого угодно поучить этому, как и любой другой крестьянин, в общем-то. На этом месте какая-то важная ниточка нашей истории здесь оборвалась. И пошли Иваны-дураки. Колхозник — значит дурак. Чепуха это! Это были очень интересные люди. Бабушка была неграмотная, но когда дед был в плену, моя двоюродная сестренка сама написала деду письмо. Села и как-то перерисовывая буквы написала.

М.Н.: Интересная история!

Л.Н.: Конечно интересная. Оно интересно еще и потому что оно ушло. Потому что оно прошлое, а поскольку прошлое сейчас совершенно обгажено, то, конечно, оно представляется диким. Да никогда оно не было диким! В чем-то оно могло быть и безобразным (почитать хотя бы классическую литературу), в чем-то прекрасным. Но деревенский мужик был намного сложнее, чем его описывали. Он был и дикий, но и с какой-то высокой потребностью.

Это все было очень важно! Оттуда шли капилляры всему моему поколению, какие-то соки из нашей истории, которую мы не знаем толком. Мы ее либо возвеличиваем, либо уничтожаем без следа.

Еще маленький штрих, это картинка времени. Дед был крестьянином. Был у него брат. Брат подписался приказчиком в Воронеже. Он увлекался фотографией. И есть фотография: в саду на скамейке сидят два человека. Один — в австрийской солдатской кепочке, мой дед. А рядом с ним сидит джентльмен. Котелок, костюм, цепочка. Барин не барин, но интеллигент. Два брата. Этот самый Василий Павлович, брат моего деда, сделал какую-то карьеру в городе. Он вдруг стал человеком, прикосновенным к культуре. Он слушал Шаляпина, занимался фотографией. Но он не просто так фотографировал. Он сделал снимок

деревенского хоровода, где моя бабушка совсем молодая водит хоровод. Был еще один снимок, который потеряли. Совершенно невероятный снимок. Темнота, какая-то хата, и сидит какой-то такой жалкий человечек, борода такая, мне кажется, слюнявый, ну как бомж. И этот человечек, это картинка деревни, также как и хоровод. Мой двоюродный дед фиксировал такие противоположности.

М.Н.: А другие фотографии сохранились?

Л.Н.: У меня сохранилась фотография: дед и два офицера. Видимо, сразу после того, как в армию призвали. Рядом с этим деревенским домом.

А для меня осталось загадкой это явление: и сад, и Мичурин, и эта эстетика новая. Откуда это все взялось? А история деда заканчивается так. В 37-м облагали налогом каждый корень в саду. Сад был огромный, наверное, на гектар. Когда дед вступил в колхоз, половину сада отрезали. Половина ближе к дому — осталась дедова, а половина — у колхоза. Дед переживал страшно, потому что там началась мерзость запустения. Яблони начали вырождаться, а это же своими руками сделано. Дед работал с утра до вечера в поле, но находил время чтобы зайти в сад, что-то там ковырялся, что-то делал и приходил мрачнее тучи. Бабушка нам говорила: «Смотрите, чтоб туда ни шагу!» А это же интересно! Свое есть невкусно, соседское рвать лучше, хоть оно и невкусно. Все вокруг вырубил свои сады и посадили картошку. Сады были не только у деда, но не такие. И вот остался только дед со своим садом до 47-го года. Бабушку уже дочери забрали в городок Новохоперск. Бабушку забрали, а деда не отпускали, он колхозник. Потом дочери уговорили: «Папа, поехали в город. Ну чего ты здесь один. Зима, топить нечем. Тут и холод, и есть нечего...» И уехал дед в город, и жил у нас в квартирке.

И вот 47-й год, когда произошла денежная реформа. Дед продал дом за 30 тысяч, чтобы доучить дочь — тетю Лелю. Помню, как отец у кого-то из начальства добыл машину и как они торжественно этот портфель с 30-ю тысячами везли в город. А времена были лихие, там еще в лесах бродили дезертиры.

Про денежную реформу уже давно толковали в народе, но дед на все рукой махал: «Бабий треп!»

” И вот, однажды решил пойти продать валенки. Пошел и продал за 300 рублей. Приходит домой а ему говорят, что тарелка сказала (это радио у нас такое было) что денежная реформа! Было 10 рублей, а стал 1 рубль. И все дедовы деньги рухнули...

Это его совершенно подрезало. Он и так был необщительный, а тут заперся в своей комнатке совсем. Я мальчишкой подсмотрел, чем он вечером занимается. Мы были семьей сельскохозяйственной, и он вечером листал четыре тома Мичурина. А там красочные, хорошие картинки. Он рассматривал свои яблочки. Это вот к рассказу о наших крестьянах и история моего деда. Эту психологию крестьян по-настоящему никто из писателей не знал. Даже Лев Николаевич. Я конечно не сумею вам это ни показать, ни продемонстрировать.



Братья Иван Павлович и Василий Павлович Кортуновы. Начало 1920-х гг.

Ну вот маленький пример. Когда я учился в МГУ, Василий Павлович (брат моего деда) пригласил его приехать в Москву. Дед собрался и приехал. Сын Василия был уже дипломатом, комната у них была большая в доме рядом с высоткой на Котельнической набережной. И вот сели за стол, а он весь забит яствами столичными. И разговор такой: «Передайте фрикасе! А пойдем завтра в филармонию! Сходим в Парк культуры Горького», и так далее.

” Дед слушал-слушал, а потом как шарахнет своей ручищей по столу: «Все! Уйду! Уйду завтра пешком!» И ушел бы пешком по шпалам. Он ведь купить билета не умел, сесть на поезд не умел.

Вот такая вещь. Вот такие контрасты. Наша родина как двуликий Янус, у нее совершенно разные выражения, разные эйдосы.

Учеба в школе. Увлечение философией

Моя школа раньше была гимназией...

М.Н.: В Воронеже?

Л.Н.: Нет, в Новохоперске. Воронеж для нас был столицей, и поездка туда была огромным событием. Ребенком я там только однажды побывал.

И вот я учился в этой школе. А что такое было образование в самой глубинке России? В нашем городишке был только один завод — маслозавод и 6—7 тысяч населения. А остальное все — сельское хозяйство. В моей семье четыре человека окончили школу с золотой медалью: моя двоюродная сестра (ее отец погиб под Витебском в 44-м году), раньше годом окончил школу ее брат, и я. Трое поступили в Московский университет. Когда я приехал в столицу, чтобы учиться на философском факультете в МГУ, можно было с ума сойти. Я был уверен, что на первом же экзамене меня выгонят, куда уж мне с москвичами гоняться.

М.Н.: Может быть у вас была историческая школа, с каким-нибудь уклоном?

Л.Н.: Обычная школа! Как везде! Но образование было очень хорошим.

М.Н.: Может вам запомнились какие-то учителя выдающиеся?

Л.Н.: У нас была классная руководительница настоящая немка Лидия Германовна Шуберт. Она преподавала нам немецкий язык в годы войны. Я до сих пор на память помню немного Гете и больше Гейне. У нас был спектакль на немецком.

М.Н.: И ее не переселили?

Л.Н.: Ничего не переселили. Была очень хорошим учителем. А литературу преподавал средненький учитель-сухарь. В общем, ничего выдающегося со всеми предметами. Все обычно.

М.Н.: А как вам пришла мысль ехать поступать на философский факультет?

Л.Н.: Мы интеллектуально существовали за счет чтения. В городе все знали всех и книги переходили из рук в руки. Жили книгами. Книги, которые я тогда читал, до сих пор хранятся у меня. А книги самые разные. Мне страшно нравилась «Арсен из Марабды». Был такой Михаил Джавахишвили, грузинский писатель-националист, и, по-моему, его потом убрали, а книжка осталась. Книга была о грузинском герое, который воевал с русскими завоевателями. Но книжка интересная.

Была книжка «Иваново детство», «Порт Артур», Теодор Драйзер «Гений». Когда я сказал своей тете, что я его прочитал, она была страшно удивлена. Взрослые, дети — все менялись книгами. Как только в библиотеке новые книги [появлялись], сразу выстраивалась очередь

А вот как случилось, что я, так сказать, вляпался в философию. В 44-м году у меня была одна тетя, она в то время училась в аспирантуре у воронежского профессора-литературоведа. Тетя была замужем за офицером, а его училище переводили куда-то в Среднюю Азию. Она, конечно, бросила учебу, уехала с ним. И они оставили огромный сундук с книгами. И вот однажды мы с двоюродным братом в сундук этот залезли. Мама родная, что мы там обнаружили! Я нашел там выцветший синий томик Гегеля «Наука логики», том пятый. Вот с этого все и началось. Я его открыл, ничего понять не могу. Не книжка, а черт знает что. Какие-то столбики, какие-то квадратики, какие-то восклицательные знаки, на полях «ха-ха, ха-ха». Этот том публиковался с соответствующим приложением соответствующего раздела философских тетрадей Ленина. Это были его конспекты. Я никогда таких книг не видел.

” Я начал читать о понятии, субстанции «в себе», «для себя». Это меня очень раздражило. Думаю, что за черт, вроде не совсем балбес, написано все по-русски, а понять ничего не могу. Вот так я окунулся в философию.

В старших классах стал читать «Капитал». Дальше первой главы пойти не мог, да и первую главу почти не понимал, но было очень интересно.

Так вот, окончил я школу с золотой медалью. Двоюродный брат уехал в Политехнический институт Иоффе в Ленинграде, на факультет, который занимался ядерными делами, который сразу стал секретным. Потом он сбежал оттуда. А я решил поступать на философский в МГУ. Поскольку с золотой медалью у меня экзамена не было, но было собеседование. А факультет тогда был на особом положении, считалось что у него есть некоторый идеологический профиль. Это 51-й год, Сталин жив. И вот собеседование. Проводил его замдекана Кузьмин Михаил Евграфович и разные комсомольские деятели. Среди них была Регина Карпинская, тогда она была Фадеева, она была комсомольским функционером. Курс у нас был сильный! Передо мной на собеседовании был Сашка Володин, Вадик Садовский, Вадик Межуев, Володька Швырев и ряд других. Старше меня на курс были Ричард Косолапов и Владик Лекторский, а младше Пиама Гайденко, Эрик Соловьев, Юрка Бородай, Олег Дробницкий, Слава Шестаков. И вот собеседование. Я смотрю: вокруг московские ребята, а я из деревни. Страшно переживаю. И вдруг Сашка Володин завел разговор о том, что спрашивали. Сашка вообще был очень правильный человек, все знал, всем помогал. И вот говорит, что спрашивали его про три черты материализма и четыре черты метода, гениальное произведение товарища Сталина. А я такого даже не слышал! Вот, думаю, вляпался. Думаю, теперь все, сейчас меня завалят. Пошел туда. Мне задавали вопросы по истории, про падение Константинополя. Я это все отбарабанил с легкостью. А потом задают мне вопрос: «А почему философия? А почему не что-то другое?» Я отвечаю: «Ну, вот, Гегеля читал...» Они как грохнулись в смех, как повалились. Вот так и начался мой путь.

Воспоминания о войне

М.Н.: Вы сказали что война — одно из самых главных воспоминаний у людей вашего поколения. Как она началась, что вы помните?

Л.Н.: Я помню, это было жаркое лето. На столбах тогда вешали большие репродукторы, и я помню как мой отец и дядя слушали выступление Молотова о нападении Германии. В этот же год я должен был идти в первый класс. И я пошел в школу, где директором был мой дядя Володя. Но учиться в этой школе нам не пришлось, поскольку ее уже заняло какое-то воинское подразделение. Это был сентябрь 41-го года. Нас выстроили в рядок, рядом со мной мой любимый Ваня Дергачев, которого привела мама. Он был одет в мамины голубые трусы. *(Смеются.)* Вот такое время было. Нас повели в другую школу, где мы поступили в первый класс.

Поначалу все было ничего. Знали, что идет война. Общее состояние было чрезвычайно тревожное. Стало понятно, что это вам, ребята, не борьба за чужую землю, а за спасение своего. Стало формироваться такое отношение — о немце говорили «он», как о личности. Это уже был миф, боялись очень сильно. Стали поступать эвакуированные, и мы посмотрели, что это такое. Страшное лицо войны стало проступать все отчетливее и отчетливее. Стали подселать эвакуированных. К соседке подселили одну еврейскую семью: отец — человек хромой, сын с женой.

” Жена была самая страшная, это была девушка лет 17. Она была немного сумасшедшая. Эта семья принесла с собой чудовищную атмосферу несчастья, которая внезапно обрушилась на страну.

Согнанные из своего гнезда из Украины, вырвались, пришли совершенно голенькие, без ничего. Все их подкармливали.

В нашей школе появились эвакуированные ребята. Стало голодно. Потом пошло отступление, 42-й год. Морозы были бешеные. А солдаты были одеты плохо. Эти монгольские полушубки появились позже. Они под Москвой сначала появились, когда сибирские дивизии одели в валенки и прочее. У солдата была только шапка-ушанка, а сам он был в шерстяной одежде, весь обмотанный. Помню, как бабушка отмачивала одного обмороженного. Кошмарные впечатления. И шло отступление. Я больше всего

запомнил отступление 42-го года накануне Сталинграда, летом, когда шли бои на Дону. Это было недалеко от нас. Шли и шли телеги, воинские части. Очень нехорошо было. А потом стало слышно канонаду. Но дальше их не пустили. Когда немцы уже подошли совсем близко стало ясно, что нужно эвакуироваться. Воронеж уже почти взяли, скоро и наша очередь.

Отец работал у меня в РАЙЗО (районно-земельный отдел), в армию его не взяли из-за язвы желудка. Там сколачивали партизанский отряд, его намеревались оставить. А потом все это поменялось, и решили что он должен командовать эвакуацией скота на восток. А мы оставались. Появились непонятные персоны. Был такой Богданов, работал у отца агрономом. Очень несимпатичный. Он стал показывать соседям свои старые царские ордена, вышел из подполья. Некоторые в те времена взбодрились, другие наоборот стали тише. Непонятно было куда нам деваться. Нас решили отвезти к деду. Поехали в Карачан. Это было глупо, потому что в деревне дедова семья славилась как советская семья: дочери с высшим образованием, мужья офицеры. Постреляли бы всех наверняка. Но тем не менее лето мы провели там, немцы дальше не прошли.

Шли разговоры разные. Рядом с нашим домом был пункт «Утильсырьё». Свозили туда все, что ни попадя: рога, старые кости, а потом металл, разбитые самолеты, техника. Для нас, ребят, было раздолье. Мы туда лазили, собирали все это. У меня была горелая винтовка и какой-то ствол от пулемета. И был в этом утильсырьё один дед. У него было два сына, и оба были на войне, и оба погибли в битвах за Дон. Я их помню, ребята были интересные. А отец мой что-то где-то ляпнул, и этого деда забрали. Непонятная история. Но в моей семье никого не было репрессировано, даже никто из знакомых семьи не был репрессирован. Так что все эти рассказы про ГУЛАГ для меня вещи чисто литературные.



Стадион Лужники, 4-й курс, группа №1 Философского факультета. Сентябрь 1955 г.

Учеба в Университете

Теперь про университет. Я скажу так: хоть и нехорошо это, но Университет дал нам очень немного. Генка Гусев был редактором «Роман-газеты», а потом замредактора «Нашего современника». У нас было одно комсомольское собрание, на которое собралось факультетское начальство, и мы там бунтовали сильно. Генка, обращаясь к деканату, говорил: «Наши студенты уже к третьему курсу обгоняют профессоров». И это не была выдумка. Психологи бы так не сказали. У нас были две группы философских, одна группа логическая, и одна психологическая. В психологической группе училась жена Горбачева, на курс старше меня. Там были замечательные психологи, например Олег Тихомиров.

М.Н.: У них были хорошие учителя?

Л.Н.: Учителя такие: Алексей Николаевич Леонтьев... Мы с ним сошлись очень близко. У меня вышла книжка в Алма-Ате «Монизм как принцип диалектической логики». Он мне все говорил: «Давай переиздавать, я ее сам отредактирую!» Леонтьев нам читал лекции на третьем курсе. Сидим слушаем, ничего я не понял и никто ничего не понял. Мне казалось, что это такая заумь! Он ведь не стеснялся, терминологией сыпал. А на самом деле он оказался другим, даже совсем наоборот. Он был такой чернявый, у него (как и у меня) в роду были цыгане. Он мне чем-то напоминал Идена. Вот такой был факультет у психологов. И, конечно, у психологов был Лурия Александр Романович. Он просто светился умом. Я однажды выступал на защите одной докторской диссертации, меня Алексей Николаевич пригласил и Василий Васильевич Давыдов. Я был там оппонентом. Лурия сидел рядом с Алексеем Николаевичем, и я вижу, что смотрит на меня как-то любопытно. После доклада он подходит ко мне и говорит: «У вас очень интересная жестикуляция!» Это он, оказывается, на меня как психолог смотрел. Думаю, боже мой, как наверное я дико выглядел. Был еще Гальперин. Он для меня остался образцом очень умного человека. У него был интеллект, как я для себя говорил, химический. Каждую проблему он разлагал как кислота. Интеллект бывает разный: масштабный, описательный. А он у вас на глазах мыслил. Говорит-говорит, вдруг — стоп! Что-то придумал, записал себе, и затем продолжает. Вот такие люди были... А у нас...

М.Н.: Это конечно был вызов, прийти и сказать на третьем курсе что профессора не успевают.

Л.Н.: Да! Там было большое бурление. Тогда уже Ильенков появился. Я сейчас про него два слова скажу.

” Профессура наша нам ничего не дала. Я так был расстроен. Я думал, что приеду в Москву, у всех огромные головы и вообще публика тонкая. Но публика оказалась простая.

Представление факультета... а мы абитуриенты, только поступили. Нам выдают студенческие билеты, декан, профессора. Мы сидим на Моховой в круглом зале. Декан — Алексей Петрович Гагарин, такой большой дядька, широкий в плечах и в талии. Когда он двигался по коридору, то он как поршень выталкивал из коридора всех студентов, в проходе все не помещались. И вот мы сидим на презентации факультета. Декан стал говорить о себе, что он был директором свиноводхоза. Это нас повергло в недоумение. А потом, когда стал представлять студентов, я подумал, куда же я попал. Володя Тевосян (мы потом приятелями стали) — сын заместителя товарища Сталина. Я понял, что попал как кур в ощи́п: у одного папа профессор, у другого что-то еще. Но когда начали учиться, все завертелось, то я увидел, что, что-то не то. Весь философский факультет какой-то жалкенький. В основном четыре черты материализма или что-то в этом роде.

Когда я на втором курсе сделал какой-то доклад на семинаре, и ко мне подошел Саша Корешков (у нас было много старослужащих, все партийные) и сделал мне внушение: мол, философские тетради Ленина это, конечно, хорошо, но про товарища Сталина надо. Вот так! Поправляли постоянно. Вот к третьему курсу и наступило разочарование, ведь перед глазами был факультет психологии

со своими замечательными фигурами. Потом у нас появился Ойзерман. Я не сказал бы, что он произвел сильное впечатление на нас. А вот впечатлил нас Эвальд, который появился когда я был на первом курсе, но это уже отдельная история.

Об Эвальде Ильенкове и Михаиле Лифшице

М.Н.: А что вам запомнилось о нем?

Л.Н.: Сначала запомнились разные слухи и разговоры. Вот кто такой Ильенков, я не знал. А надо сказать что на третьем курсе мы кое-что о себе уже полагали, особенно Генрих Батищев. Он выпускал свои какие-то тезисы «Г.С. Батищев» и распространял среди нас, у него была своя машинка, а папа его был экономист. Ну вот, сначала появился слух, что появился какой-то Ильенков, какая-то у него диссертация. Видел его раза два-три не больше. Выглядел он очень интересно. Порода в нем чувствовалась. Эвальд был кумир, к нему было такое грандиозное отношение...

М.Н.: А с чего появилось такое отношение?

Л.Н.: А вот с этой диссертации. К тому же в нем было что-то такое... Харизма в нем была! Было в нем благородство, не вульгарное, не аристократическое, а именно благородство в самом человеческом смысле. За версту было видно, что человек значительный, именно внутренне. Он был часто небрит, одет кое-как, галстук терпеть не мог.

Познакомились мы так... На третьем курсе я написал курсовую работу «Диалектика в „Капитале“ Маркса». Был у нас один немец Фогелер, аспирант, и он почему-то взялся показать эту мою курсовую Эвальду. Эвальд задал только один вопрос обо мне: «А он тоже аристократ духа?» Это можно было понять неверно. Это была специфическая ильенковская ирония. И вот мне говорят, что Ильенков хочет со мной поговорить. Я волновался, конечно. Сели, он достал мой трактат с пометками на полях и стал мне говорить. И немножко мне раскрыл о чем надо было бы писать. Без всякой критики, просто как совет. Пометок было довольно много. Но надо представлять обстановку: апрель месяц, 54-й год, вокруг студенты ходят и смотрят, как мы с ним сидим и о чем-то общаемся. Потом моя курсовая с его заметками ходила по всему факультету. Вот так и состоялось наше знакомство. Потом он меня и домой пригласил и как-то мы сблизились.

Несколько слов о Коровикове. В 2004-м году были юбилейные Ильенковские чтения, я там был и его не узнал. Он похудел, с бородкой ходит. А познакомились мы тоже во время моей учебы. Он был очень ярко, остроумен и ядовит. Бритва! И вот Эвальду и Коровикову предложили на факультете изложить свои взгляды о предмете философии, что такое философия марксизма. Они по наивности и написали тезисы, текст. А текст — это документ! Тут и началось. Устроили обсуждение этого текста, и там наша профессура как свора собак, сорвавшаяся с цепи, принялась их терзать. Ревизионизм! Тра-та-та-та... Необыкновенно скандальная вещь. А на дворе 54-й год, двухсотлетие Университета. К юбилею хотели дать орден Ленина. Как раз было закончено новое здание Университета. А дали Орден Трудового Красного Знамени. Поговаривали что это из-за Коровикова и Ильенкова. Коровикова сразу же поперли, и Ильенкова вместе с ним.

А я как-то зацепился за Институт философии, думаю Розенталь помог. Между прочим, Марк Моисеевич был очень хорошим человеком. А Коровиков вообще на все плюнул. Он всегда был немножечко авантюрный: в детстве сбежал из дома, потом он сбежал чуть-ли не в Антарктиду в трюме корабля, в общем, путешествовал по всему миру. Он ушел в «Правду» и стал прекрасным обозревателем. Потом на несколько десятилетий он уехал в Африку, а потом в Индию и там, говорят, его по сей день помнят. Весь дом у него завешан африканскими масками. Он всегда был прекрасным оратором. Эвальд не выступал с докладом, выступал Коровиков. Эвальд был оратор не яркий, у него логика, он на глазах у тебя мыслил, а Коровиков мог и отбrehиваться, и вообще... И вот Коровиков делает доклад, а Эвальд сидит за партией, даже не в первом, а где-то во втором-третьем ряду и иногда что-то вякал, как школьник на уроке. Прятался «на камчатке». Вот их в конце концов выгнали.

А началась у нас с ними история в Институте философии. Вот мы и сошлись. Мы это: Эльмут Зайдель, немец из Лейпцига, и я. Эльмут привез несколько книг: Эрнст Блох «Субъект-объект», Лукач «Исторический роман» и «Молодой Гегель». И когда мы познакомились с «Молодым Гегелем» мы были поражены. Мы решили с Эльмутом перевести эту книгу с немецкого. Мы сколотили группу студентов. Там был Пиама Гайденко и Нелли Мотрошилова, много ребят было, мы привлекли также Эвальда. Чтобы продвинуть дело, Эвальд договорился с Гургенидзе опубликовать рецензию на книгу. Мы написали (Эвальд написал, а мы подписались). Ходили мы, со всеми говорили, искали как бы сдать книжку, но народ был уже тертый: «Да, конечно... хорошо бы... но, вы знаете... с другой стороны...» Ходили и к членору Дыннику. Ничего не выходило. Дальше Эвальд уже сам перевел одну главу и ее все-таки опубликовали. Это было в 56-м году, в тот год мы с Эльмутом окончили Университет. Всех раскидали во все стороны, кто куда. Распределения не было, было — как род наказания. Один директором бани, другого куда-то еще. Дали свободный диплом и сказали: «Катись!»

М.Н.: А ваше общение с Эвальдом как-то сказалося на вашей судьбе?

Л.Н.: Сейчас расскажу. Наступила осень, венгерские события, и геноссе Лукач, министр культуры правительства Имре Надь оказался антисоветчиком и жутким ревизионистом. А я в это время преподавал в Сельскохозяйственном техникуме под Воронежем. А был тогда еще летом всемирный фестиваль молодежи. Мне очень захотелось поехать в Москву. Я прихожу к директору, а он был такой хитроватый мужичок, глазки умненькие. Я ему объясняю: «Вот вы понимаете, мы опубликовали рецензию, в „Вопросах философии“ вышла, на Георга Лукача, а он министр культуры и вот по всяким ученым делам мне нужно уехать в Москву, дайте мне отпуск на несколько дней». Уехал. И как раз шарахнули эти события. Я приехал вот с таким вот лицом. Он надо мной подсмеивался, мол как там министр. Ну, меня это не коснулось, потому что ссылать уже дальше некуда, а «Вопросы философии» выступили с большой статьей, где заклеили как идеологическую ошибку публикацию рецензии Ильенкова, Зайделя и Науменко и дезавуировали это выступление. Потом была специальная статья на тему: какой нехороший Лукач. Эльмут уехал к себе в Лейпциг. Его там начали трясти. А он утверждал что в подписи на рецензии стоит Г. Зайдель, не Э. Любому немцу ясно что Эльмут и Гельмут не одно и то же. Вот такая история.

А мы Лукачу написали письмо с вопросом (это было еще до событий) об овнешнении (опредмечивании), о чем-то еще. На самом деле, дело было не в вопросе, а просто чтобы законтачить с человеком. Почему он нам был так важен: у Лукача в книге «Молодой Гегель» были отрывки, занимаясь переводом которых мы сталкивались со многими непонятными местами. Лукач очень хорошо ответил, а потом спрашивает, а зачем вам мои статьи, ездить так далеко. В Москве есть Михаил Лифшиц, к которому он посоветовал нам обратиться. Так мы познакомились с Лифшицом. Черновую работу перевода мы делали в основном с Эльмутом. Философские места я еще кое-как переводил, а вот где текст выходил за рамки философии — уже только Эльмут справлялся. А из книги выходило, что Гегель занимался политэкономией. Эта дорожка вела напрямик к Марксу! И встретилось нам одно словечко «Гийон». И было непонятно, что это такое, и никто не знал. Ходили-ходили и в конце концов зашли к Лифшицу (я, Эльмут и Ильенков). Рассказали мы ему про Гийон, а он не ответил, сказал чтоб мы приходили к нему домой, найдем там. Эрудиция-то у Лифшица совершенно бешеная, потрясающая. Он жил на территории Третьяковки, когда-то был там то ли замдиректора Третьяковки (он же художник был), то ли заведомом хранения. Пришли мы туда. Открыла жена Лидия Яковлевна Рейнгард, она тоже искусствовед. С места в карьер, стали искать Гейона. Он принес огромный том старинного лексикона. Нашли: настоятельница испанского монастыря XIV или XV-го века. А контекст у Гегеля был хитрый. Работа его называлась «Дух христианства и его судьба». Там он рассказывает, что там, где обреталась эта Гийон, монашки как бы заигрывали с Христом. Гегель он был такой...

Вот мы разрешили все вопросы, накрыли стол, сели. Вдруг звонок. Входят двое: один невысокого роста, а другой крупный. Мне показалось, что у него белые глаза. В дырявом пальто, а на дворе апрель месяц. Большой вынимает две бутылки водки, той самой водки, хорошей, и второй тоже две бутылки вытаскивает. Это оказался Твардовский, а рядом Игорь Сац. Нас представили друг другу. У нас с Эльмутом вот такие глазища. За столом пошли разговоры про войну, про Переделкино (отец Эвальда был писатель).

Вот такая была у меня встреча с Лифшицем и Твардовским.

Лифшиц потом вспоминает этот эпизод в своем некрологе, посвященном Ильенкову. Сейчас вышло несколько книг: переписка Лифшица с Лукачем; переписка с тремя адресатами, один чех, Виктор Арсланов и некто Михайлов. Все сейчас издают. Недавно была какая-то большая конференция, туда приехал Тамаш Краус — венгр, мы с ним хорошо сошлись. Заговорили с ним о Лукаче. Он говорит: «Слушайте, а где эта была комната под сводами?» Это было в воспоминаниях Лифшица и Лукача, что они сидели в каком-то зале в Институте Макса-Энгельса-Ленина и обсуждали проблемы. Это на территории тогдашнего «Коммуниста» сзади Музея Пушкина, старинный особняк. А сзади этого особняка был домик, построенный Рязановым, точная копия дома Энгельса в Лондоне. Мы пошли с Тамашем искать эту комнату. Спрашивали у всех где же это все происходило. Не нашли, никто не знал. Было это очень печально, Лукач все-таки фигура крупнейшая, и Лифшиц не меньше.

М.Н.: Ну Лифшиц в тени как-то оставался...

Л.Н.: Не то слово! Его уничтожили.

М.Н.: А как он становился...?

Л.Н.: Я знал прекрасно Виктора Арсланова, его душеприказчика. Михаил начинал в 20-х годах во ВХУТЕМАСе. Он там преподавал марксизм. Затем, в 30-х годах, приехал человек с именем Лукач (которого в одной из публикаций высек Ленин). Вот тогда и началась его карьера. Они встретились и сошлись. И настолько сошлись, что Лукач (ему было уже 40 лет) признавал: «Я многому у вас научился» (у Лифшица, которому тогда 22 года было). В середине 30-х годов был журнал «Литературное обозрение». С этим журналом было связано некоторое течение: пропаганда марксизма, настоящего. А тогда господствовал социологический подход. Например: Пушкин — дворянский поэт, Шекспир — поэт рождающейся буржуазии, идеолог дворянства и так далее. Они с этим боролись и воевали.

” Тогда Лифшиц стал высказывать свои крамольные вещи. Говорил так: **многое совершается не только «благодаря», но и «вопреки». В конце 30-х годов возникла дискуссия между «благодаристами» и «вопрекистами».**

Суть такая: Михаил говорил, что великие писатели появляются не вопреки своему консервативному, а часто благодаря ему. Толстой велик отчасти и благодаря своему консерватизму. Теперь посмотрите на все великие имена, и вы поймете, что это действительно так. Хоть Бальзак, хоть Гете, тот же Достоевский, Толстой. Попробуй сказать, что однозначно его художественное творчество связано с революционно-прогрессивными, демократическими идеями. Совсем необязательно! Это в 30-е годы.

Свою первую статью я назвал так: «Характеристики социально-политической природы гегелевской философии», где доказывал, что сталинская формула (философия Гегеля есть аристократическая реакция на французскую революцию и французский материализм) есть чепуха. Что, напротив, истинным истоком гегелевской философии является наследие французской революции и французского просвещения. Это было независимо от Лифшица.

М.Н.: А как-то на Лифшица повлияли все его высказывания в 30-е годы?

Л.Н.: Конечно повлияло, еще бы! Тогда его не преследовали, но драли невероятно в журналах. Затем война. В войну он был комиссаром. Одно время он преподавал в военно-морском училище. Затем наступили такие времена — борьба с космополитизмом. Лифшиц попал в число космополитов. Его обрубали так, что он ни кандидатскую не мог защитить, обвинили чуть ли не в плагиате. Запретили выступать с лекциями, долгое время он не мог ничего опубликовать. На него нападали «последовательные марксисты-ленинцы», в кавычках, какие они марксисты-ленинцы! Потом, когда времена изменились (уже при Хрущеве), наоборот: раньше его обвиняли в ревизионизме, а потом стали обвинять в реакционном

консерватизме, причем те же самые люди.

Могу сказать следующее: Лифшиц и Твардовский были дружны.

” Когда начались гонения на Сталина, когда он умер, Лифшиц сказал Твардовскому: «Саша, если ты не порвешь и не перестанешь подпевать этой всякой сволочи, то я перестану иметь с тобой всяческие отношения!» Это сказал Лифшиц, которого преследовали сталинисты! Вот такая интересная вещь.

Интересная история случилась с Лифшицем на войне. Он был ранен, попал в плен к немцам. Он был комиссар, еврей. Наутро их должны были расстрелять, а они вместе с каким-то солдатом сбежали! Лифшиц это человек, которого никогда никто не признавал. По сей день (вот его только начали издавать) его как будто не было. Такая фигура! Если Лифшиц кого-то уничтожал, то уничтожал насмерть. Он написал знаменитую вещь, которую должны были опубликовать в «Новом мире», «Дневник Мариэтты Шагинян». Это потрясающе! Что же он с ней сделал. Шагинян она могла о ком угодно написать, о Гегеле запросто, будто всю жизнь занималась им. А он издевается, пишет: вот она поехала, допустим, в Эстонию, в Кингисепп, выступала на партийном собрании, рассказывала как нужно добывать сланцы. И обо всем остальном точно также. Это было заслуженно. Он бастовал против халтуры. Он был один из тех, кто начинал Оттепель. Тогда было опубликовано 4—5 статей, одна из которых была Лифшица, называлась «За нравственность в искусстве».

А про отношения с Твардовским я скажу такое. «Василий Теркин», сцена в бане. Это было в Воронеже, пошли они с Твардовским в баню. Это был 43-й год. Твардовский тер спину Лифшицу, а после написал такие строчки:

Неровна, зато красна,

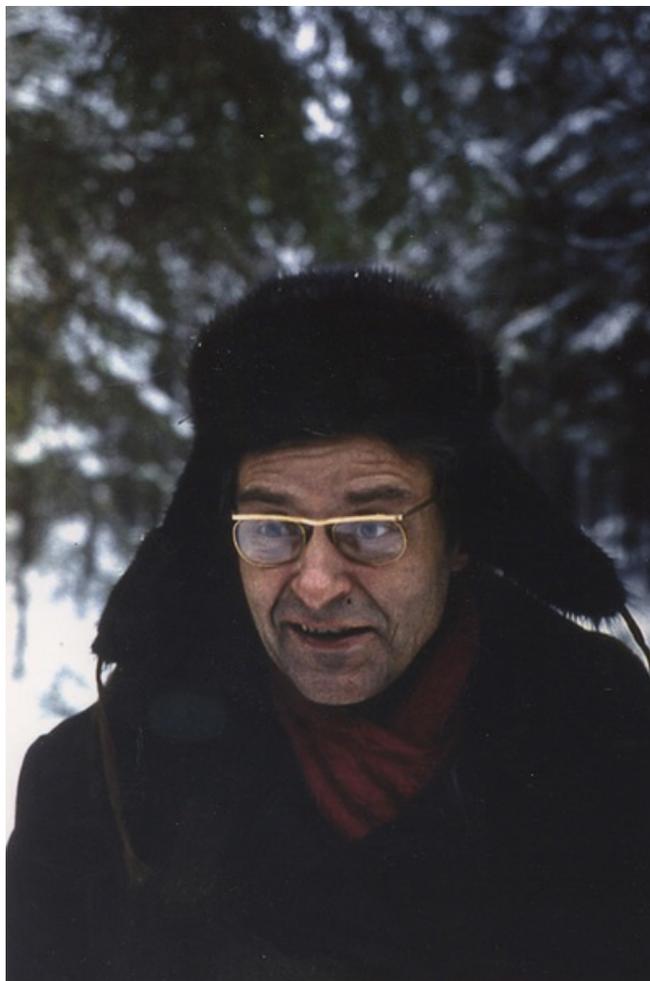
Впрямь под стать награде,

Пусть не спереди она, —

На лопатке сзади.

Это была рана у Лифшица, и стреляли-то в спину, такие вещи случались очень часто. А тут комиссар еще и еврей. И Ильенков — огромная тема. Он очень уважал Лифшица.

М.Н.: У вас получается три поколения?



Эвальд Ильенков в гостях у Л.К. Науменко. Обнинск, 1973 г.



Л. Науменко и Э. Ильенков. Обнинск.

Л.Н.: Три поколения, а главное независимо! Когда Лифшиц познакомился с Ильенковым, он прямо расцвел. Он думал что все затоптано, и память об Октябрьской революции и марксизм. Судьба у Лифшица была абсолютно чудовищная. Его даже не вспоминали. О нем говорили: «Он же настоящий дьявол!» Спорить с ним было невозможно. Он так уделает... А потом статья «Феноменология консервной банки». Я редактировал его статьи в «Коммунисте». Он был силен в текстовой полемике.

М.Н.: Его действительно боялись?

Л.Н.: Его ужасно боялись. Он мог уничтожить, и не с помощью каких-то конъюнктурных ходов, а по сути дела, причем не издеваясь. С его эрудицией, с его умом можно было сделать очень многое, но у него все было прилично. На меня он произвел сильнейшее впечатление. Он пошел на самоубийство. Он написал «Почему я не модернист» и опубликовал в Чехословакии, где выразил все свое отношение к модернизму. И на него такое поднялось, вчерашними сталинистами. Как сказал Солженицын: «Ископаемый марксист!» А почему Солженицын так сказал — понятно.

” Лифшиц с Твардовским первые поддержали «Один день Ивана Денисовича». И тогда же Лифшиц сказал Солженицыну: «Больше вы ничего не напишите».

М.Н.: Он посчитал что Солженицын достиг своего предела?

Л.Н.: Да, он там выступил как писатель-реалист. Недавно я разговаривал с Валентином Толстых.

Они с Лифшицем лежали в доме отдыха кинематографистов после инфаркта, в одной палате. Однажды состоялся такой разговор. Лифшиц спрашивает: «Валентин, скажите мне, а что такое Высоцкий?» Валентин ответил: «А вот как выползем мы отсюда, так вы приходите, я вам покажу Высоцкого». Ну, не живого Высоцкого, конечно, но записи. Объяснил ему, что такое Высоцкий. Когда все это закончилось, Михаил сказал: «Да, это объективно и потому художественно».

Вот и отношение к Солженицыну. А дальше стало уже необъективно, дальше уже появилась тенденция. Тенденция к проклинанию истории и всякое такое прочее. Эвальд страшно уважал Лифшица. Эвальд знал прекрасно Вагнера. Как-то Эвальд пришел ко мне и говорит: «Лёв (он меня звал не Лев, а Лёв), приехала шведская опера, пойдём в театр! Михаил Александрович с нами пойдёт». После театра мы проводили Лифшица домой, топаем с Эвальдом обратно, он мне говорит: «Ты знаешь, у меня язык присыхает к небу когда я с ним (с Лифшицем) говорю!» Это были 70-е годы.

Об Александре Зиновьеве

М.Н.: А после учебы вы помните свои ощущения, какие перед вами стояли планы, как вы видели дальше свою работу?

Л.Н.: Да никак я не видел. Из общения с такими замечательными людьми я вернулся в свою деревню. В Сельскохозяйственном техникуме я преподавал политическую экономию и историю СССР. Хорошо все было, ребята замечательные, но никакой философии. Я там был год. А потом мне прислал письмо Марат и пригласил меня в Алма-Ату в Институт философии, где я и проработал 12 лет.

М.Н.: А с Ильенковым вы как-то поддерживали связь?

Л.Н.: Переписки особой не было. Иногда он обращался ко мне с просьбой помочь кому-то. Однажды попросил меня помочь одному музыканту, феноменально одаренному. Пианист. Этот парень запил в Алма-Ате и его выгнали из консерватории. У нас там одно время работал один парень, Душманов его фамилия, он потом стал помощником секретаря местного ЦК. Я к нему ходил, мы думали как помочь человеку. Встретился я с музыкантом, поговорил. В общем как-то помогли... вот такая была переписка. Эвальд приезжал два раза, один раз на симпозиум, а в другой раз просто в гости. Это было замечательно. Он же был великий человек! Эвальд прекрасно рисовал, так же как и Сашка Зиновьев.

М.Н.: А какие у вас воспоминания о Зиновьеве?

Л.Н.: Хорошие воспоминания. Он был замечательный человек. Расскажу такую картиночку. На третьем курсе я ходил в «китах» (в каком-то смысле интересные перспективные студенты), и Юра Щедровицкий пригласил меня к себе. Пошел я туда. Большая московская квартира, большой стол, уже накрыт. Видно было что тут живет очень интеллигентная еврейская семья. Очень хорошая атмосфера. Там были очень интересные и талантливые ребята. Сидим мы за столом, рядом со мной какая-то девица. А я сижу — дерево деревом. Все свободно говорят, шутят, беседуют, а у меня ступор, а я прям деревенщина. Соседка стала меня проверять, чтоб выяснить кто я такой, а я и сказать ничего не могу. Наша компания с Эвальдом была попроще. И вот сижу я и вижу, что с другого конца стола смотрит Саша Зиновьев (я его тогда немного знал). Он был человек наблюдательный и прямой. Вдруг он встает, подходит ко мне, держит в руках стакан: «Левка, что ты такой деревянный?» Дает мне стакан, наливает водки и себе тоже. Я хлобысь этот стакан, и он тоже. Вот это характеристика его как человека. Он очень сложная личность, одаренная. Отношения с Эвальдом [у Зиновьеве] были конкурентные. Он ведь тоже написал кандидатскую диссертацию по логике «Капитала». Мы ее перепечатали на папиросной бумаге, и я повез ее в Алма-Ату. Потом Зиновьев от нее отказался, стал заниматься другим, математической логикой. Эвальд над этим смеялся. Проходим мимо какого-то арабского посольства, на воротах табличка висит с закорючками. «Вот, — говорит, — Сашкина философия. Какие-то закорючки!»

